

Луговской Владимир
(1905 - несенки)

22.102

332

Бесприютный человек

Владимир Луговской: поэт, который совершил подвиг

Владимир Александров

В прошлом году исполнилось сто лет со дня рождения поэта Владимира Луговского. К этой дате была выпущена книга – наиболее полное собрание его стихотворений и поэм «Мне кажется я прожил десять жизней...». Читая – и рецензию, и книгу, – помните слова Евтушенко: «Внутри известного советского неплохого поэта... жил загнанный внутрь великий поэт»

Поэты всегда живут мимо времени. И время не прощает их – ни в настоящем, ни в будущем. Их судьбы трагичны даже тогда, когда за ними стоит внешнее благополучие.

Владимир Луговской из их числа. Признанный и облаканный властью, он тщетно пытался шагать в такт с эпохой, громыхавшей барабанным боем. Так идут в атаку и на эшафот. А в душе Луговского звучала шубертовская «Форель», отчаянно диссонирующая с браваурными маршами.

Луговскому долго хотелось соответствовать времени. Он даже попытался вступить в РАПП, хо-

тивиться ему. Именно из «Двенадцати» вырастет позже «Песня о ветре», быть может, самое знаменитое стихотворение раннего Луговского.

Поэты – люди внушаемые. Они физиологически не способны противостоять ритму, особенно если это ритм сотворения мира. Это было монументальное время, живым олицетворением которого стал Маяковский – человек-заводская труба. А что же делать, если и тебе судьбой отпущены монументальная внешность и громовый голос? Вообще, поэты 20-х годов росли в тени горы Маяковского, как в оранжерее. Он был генерал, он отдавал приказы по армии искусств, а они исполняли их по мере сил и таланта:

Но сердце у великана
Не облака, не гора,
Больше, чем золота
В недрах,
Рассыпано в нем добра.

Так писал Луговской об умершем друге. Но и не только о нем. И о Маяковском, и о себе.

Принято считать, что кризис у Луговского случился в 1941 году. На самом деле это не так. Начало его внутренней трагедии восходит к перелому 20-х и 30-х годов.

Как говорил я! Как я говорил: Кокетничая, поддавая басом, Разметывая брови, разводя Холодные от нетерпенья руки. Но прежде будет война, самоуничжительное изгнание в Ташкент, полная переоценка ценностей, смена ритма и словаря. Отсюда начинается совсем другой Луговской, придушенный и приглаженный в прошлом, когда поэт старался говорить в унисон времени – вместо того, чтобы подчинить время себе.

И что интересно – оказывается, «советский Киплинг», колонизатор и боец, странник и оратор, на самом деле всегда был робким горожанином, которому не было места нигде за пределами его родной Москвы, желавшей говорить его голосом. Он был чужим везде: в пустынях и степях, на Алайском рынке в Ташкенте и на роскошных виноградниках Дербента.

Я очень неприютный человек, – сказал он о себе. И оказалось, что ритм стихии тоже был чуждым и привнесленным, а подлинный голос поэта Луговского звучал вместе с неторопливым, драматическим белым пятистопным ямбом. И что призвание Луговского – быть сказочником, повествующим трагические сказки о светлой любви и черной ненависти:

И ничего мне, собственно,
не надо,
Лишь видеть, видеть, видеть,
видеть,
И слышать, слышать,
слышать, слышать...

Война принесет с собой «стыд и ненависть и злобу, легкую, как танцовщица». Она даст освобождение и очищение, и Луговской создаст книгу «Середина века» – одну из лучших книг этого века.

А потом будет 1956 год. Окончится эпоха сталинизма, и даже этого малюсенького глотка свободы будет достаточно поэту для очередного творческого взлета. Но время вновь не пощадит Луговского, отведя ему всего лишь этот год. В 1957-м его не станет:

Снег застигает все, хороший,
Беспамятный, последний, слабый снег.

А потом подтвердится старая прописная истина: мы ленивы и недобопытны. И интересны нам не поэты, а репутации. И Владимира Луговского почти забудут. И мы почти забудем о том, что Луговскому удалось свершить настоящий подвиг – и человеческий, и литературный. Он сумел и в сталинскую эпоху прожить и остаться поэтом. ■

«Три дня сижу я на Алайском
рынке, / На каменной
приступочке у двери /
В какую-то холодную артель...»

тя представить себе его, выросшего в семье великолепного педагога, тончайшего знатока и ценителя искусств Александра Федоровича Луговского, в роли пролетарского поэта так же естественно и просто, как Блока в солдатской шинели.

Но, как кажется, это не была попытка умышленно приспособиться к эпохе. Просто, когда ты молод, когда на твоих глазах рушится мир, трудно устоять перед напором кровавой романтики. Рядом на твоих глазах гибнут ровесники, и кровь струится из смертельных ран, пульсируя в ритме последней курсантской венгерки. Это время героев, великих свершений, и ты охвачен неслыханным ураганом, от которого можно задохнуться:

Мне страшно назвать
даже имя ее –
Свирепое имя родины.

Блок первым ощутил этот музыкальный напор и не смог про-

Именно тогда происходит «жестокое пробуждение». Поэт еще трескуче и беспомощно молит республику: «Возьми меня в перedelку и двинь, грохоча, вперед», а на волю рвутся совсем другие мысли и другие слова:

Прощай, если веришь,
Забудь, если помнишь.

Романтика кончилась. Скоро по левой стороне рубашки Маяковского распылится бурое пятно, скоро жизнь вывернется наизнанку, и загремят трубы страшного коммунистического суда. А поэт, предчувствующий время как никто другой, скорей других ощутит свою ненужность в нем.

По инерции Луговской еще напишет ряд социально правильных стихов, только будут они день ото дня все хуже и хуже. И придет время, когда поэт уже не сможет взглянуть на свое гремячее прошлое иначе как горьким и презрительным взглядом: